



Сергей Круглов
Царица Суббота

Сергей Круглов

Царица Суббота

Москва

«Воймега»

2016

УДК 821.161.1-1 Круглов
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
О66

Художник серии: Сергей Труханов

С. Круглов
К67 Царица Суббота. / Посл. Д. Строчева. — М.: Воймега, 2016. — 76 с.

ISBN 978-5-7640-0188-3

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

© С. Круглов, текст, 2016

© С. Труханов, оформление, 2016

© «Воймега», 2016

Бегство в Египет

Борису Херсонскому

Ночь не спит: Ирод
Прожигает воспалённым взглядом
Вифлеем, точку на карте.
Просыпайся и ты! Пора в Египет.

Ты думал, Египет — пустыня? (Гаснет
Милая, лубочная картинка: синее небо
Без полутонов, фольговый месяц,
Лимонными барханами бредёт ослик,
На ослике — миниатюрные трое:
Белоснежный старец,
Нежнопалевая с вишнёвым — Мать, очи долу,
Розовый Младенец с нимбом, вдали пальма.)
Да, Египет — пустыня. И народу в ней паче песчинок,
Городов — паче барханов.
Именно здесь, в Александрии,
Тебе предстоит затеряться.

Александрия, выкормыш Птолемеев!
Котёл народов!
Вы, греки, потомки милетцев,
Быками своих аристократов топтавших,
А после аристократами на гумне сожжённых,
Родоначальник погромов
Охлос, о котором плакал Полибий!
Вы, египтяне, чьих матерей и тёток
Гиксосы на фаллах распинали,
Дети камыша и кровавого камня,

Головою бараньего Хнума
Храм Единого прободавшие на Элефантине,
Смуглые реки, низвергающиеся в бездну!
И вы, плоть от плоти
Моего народа, —
Ведь еврей не личность, он только
Часть своей крови. Чтобы
Стать личностью, ему надо
Оторваться от шатров Сима
И эмигрировать в Египет, —
Вы, всяк сам по себе ныне,
Блудные дети Единого, гордые эфебы, граждане мира,
Получившие мусикийское воспитанье,
Сытые красным этим, красным,
Держащие в цепких пальцах
Все деньги Александрии,
Вы, ухлосей Израэль, успокоившиеся, будто
Забыли пересчёт жертвенных агнцев,
Грех Агриппы, пасху раздавленных, — о, отныне
Чужбина — страна моих братьев!
Никто никому не знаем.
Никто никому не нужен.
Здесь, в сонмах одиночеств, затеряйся,
Иосиф. Придёт время —
Отсюда Бог воззовет Своего Сына.

«Нет, не для евреев нет на земле места —
Для Тебя, Единый, и этого Дитяти! — горячо шепчет
Сам с собою Иосиф. — Там, где Тебя нет, — изгнание.
Когда евреями станут
Твои ученики, мой Мальчик,
Евреями всех народов мира — в мире
Им тоже не найдётся места. Им тоже
Придётся уйти в толпу, как в пустыню».

Рынок шумит многоголосо.
Протискиваясь, Иосиф
Коленом осла толкает,
Придерживает одной рукой Марию,
Другой — корзину. «Ничего, милый,
Потерпи!» — склоняется, трясёт бородою,
Агукает, цокает
Пересохшим языком. Но Младенец
Не улыбается.

(Младенцы
Не умеют улыбаться вообще. Об этом
Рассказал мне далёкий товарищ, грустный раблезианец,
Опытный врач — уж знает, что говорит! — проглядевший
Чёрные, как море терпенья,
Скорбные и молодые, как века, еврейские очи
С одесской набережной вдаль,
В кровоточащую родину,
Седой поэт, не перестающий
Чаять смерти ищущих душу Отрочате.)

Leg. X. F.

Старый солдат, я исполнил жизнь честно,
Мои оливы возделают мои внуки,
Долблёная ладья мне по росту,
В туман — трещатые ступни, ладони вдоль бёдер,
Глаза отдыхают, накрыты медью,
На груди — глиняный медальон: галера,
Кабан. Десятый легион Фретензис.

К вам, парни,
Краса Сицилийского пролива,
Чьи буцины сотрясали север от Солента до Экса,
Мерно плясавшие, в прахе по щиколотку,
Громовую либитину
На иудейских кровлях, кровью
Исправно отработавшие своё содержанье,
Меднофаллые, гроза рабынь, пожиратели пыли! —
Тени ныне,
Тень к тени, тенью с вами в ряд стану, —
И ты, сын сборщика налогов,
Наш триумфатор, трёх императоров сокрушивший, —
Жалкая тень, и ты с нами! Ветер
Аида запоёт неслышимую, невыносимую песню, застонет
В этих тростниках, клонящихся долу.

Вдали — берег, полоса пара.
Через плечо перевозчик глянул.
«Уникальное предложенье, эй, смертный!
Могу за мзду небольшую
В очередь на суд тебя пристроить.
Ты ведь был там, в Ершалаиме?»

Ты ведь участвовал, верно я понял?
Тебе повезло — знаешь, если
Там, на суде, ты Ему расскажешь,
Как велик и красив был Его город,
Сколько веры и мужества явили
Защитники, Его блудные дети,
Как они брали огонь голыми руками,
Как матери детей на смерть благословляли,
Как седобрадые иереи
Грудью защищали Ковчег Завета
(Потом расскажу, что это такое —
Тебе пустой звук, а Ему, знаешь!..),
Как сильные поддерживали слабых,
Как полегли, но не отступили,
Главное — как каялись перед смертью,
Как прощенья у своего Бога просили
(Знаю, знаю, что не просили,
Но скажи непременно — шанс уникальный!),
И говори искренно, с простотою,
Со скупой сдерживаемой слезою,
С безыскусным пафосом, слышишь? —
И Он, вполне возможно,
Тебя помилует. Хороший шанс, точно, —
Он на этот счёт просто ненормальный.
Совсем недорого! Думай, пока не приплыли».

Мерная, свинцовая вода смерти.
Помилует — какая глупость.
Здесь, в тени, — только тени,
И я — одна из теней. И мои парни.
Тенью, но с ними.
Суд? Тень солдата
Прощать не за что.

Помню, помню я это проклятое место,
Засохшую гнойную коросту
На заднице великого Рима.
Камни и пылающее солнце.
И эти безумцы,
Которых люди презирают, боги страшатся.
Там мы торчали полгода
(По пятьсот дезертиров в день вздёргивая
На кресты, вспарывая
Беженцам пуза — кто-то пустил слух,
Что они жрут своё золото, — байки, конечно,
Золото несъедобно, в пустыне на него не купишь
Ни зерна, ни воды, ни жизни,
А вот детей своих они жрали, сидя в осаде,
Не понимали ни одного человеческого слова,
А ведь ты, Тит, плакал — плакал! —
Умолял их как отец! Свины,
Хуже диких свиней!..) — полгода
И шестьдесят лет после, охраняли руины.
Полегли, но не отступили? Вера,
Мужество? Чушь всё это.
Война есть война, таким вещам на войне не место.
Война — грязь, кровь и работа,
За которую платят. Я отработал честно.
А эти...
Они начали первыми, перебили
Гарнизон, потом на улицах стали резать своих же.
Мы пришли навести порядок всего лишь.
Замок Антония мы взяли в июле.
Храм сожгли, полгорода были наши.
В августе тараны dokonчили дело.
Кто бы поверил — когда мы с парнями
Врывались в дома в поисках законной добычи,

Там было полно трупов,
Полны гниющей мертвечиной подвалы, —
Они сдохли, пожирая друг друга.
Какое там покаяние! Более упёртого народа
Не было от начала мира и не будет.

Это и многое другое
Сказал бы я, да что толку: рот зашит крепко.
Правь, лодочник, брось хитрые бредни!
Тень от теней ныне, мёртв, нет мертвее,
Я — старый солдат, десятый
Легион Фретензис. Галера,
Кабан.

* * *

*«Иерусалиме! словно кокошь,
Я хотел собрать тебя
под крыла Свои!»*

Цыплёнок не захотел,
вылупился сам.

Вон он какой — совсем большой вырос.

Стоит, не шелохнётся,
зачарованно смотрит
на меловую черту.

* * *

Девятое ава. Орлы слетелись.
Ночью из осаждённого города вон выбираясь,
Под стенами встретил я Тебя, Христе Спасе.
«Господи, Ты куда?» — спросил я.
Задыхаясь, на согбенном загорбке бревно передвинув,
Облизав губы, Ты ответил:
«Надежда грешников люта. Но Моя — лютее.
Хозяин, как тать, с полдороги
Возвращается в брошенный, проклятый им дом, чтобы
Умереть со своей кровью.
Вот и Я возвращаюсь».
«Тогда и я вернусь тоже», —
И, не замеченная мною,
Выступила из тьмы Женщина в чёрном,
Скорбном.
Плащ плотней запахнула,
Чтобы сиянием славы своей не выдать
Себя дозору, — и оба
Двинулись. Моё сердце
Закричало, и вырвалось из груди, и побежало
Вслед за ними — назад,
Домой.

* * *

По двое вышли под осень, не взяли в запас
Ни сумы, ни хлеба.
Мне — с Тобой выпало; ночь; высокое — с нас —
Сибирское небо.

И на тягуне, у заправки, где стреноженные лесовозы
Пасёт переезжая шоферня,
Ты замер, вслушался — очи как звёзды —
И остановил меня.

Отблески фар да огни папирос, а дальше — глаз выколи,
И там, во тьме,
Маленький еврей хасидскую песню пиликал,
Пристроившись на бревне.

Пел, в российских тучах благословляя
Невидимую луну,
Пел без слов, Рахиль-родину поминая,
Только её одну,

О том, как в алфавит заигрались ешиботники,
Как хищно сгустился вечер
И как, в неповинной крови шипя, субботние
Погасли свечи,

Как мать местечковая хоронит сына
При том же вечном пути,
Как ноги в кровь истёрла Шхина
И плачет: «Прости!»

Если не Ты, Христе, то кто же
Услышит в ночи его?
Если Ты хочешь, чтоб он пребыл, — что же
Мне до того?

И слушали мужики-шофера, и лица
Порастали бильём,
Новый Израиль, внуки Исава, любители чечевицы,
Думая о своём.

Мы двинулись дальше обочиной трассы, и зыбко
Таяла — так легко —
В ночи маленькая еврейская скрипка;
И до утра далеко.

Памяти Андрея Ющинского

Похороны, скверноухание смерти.
Невинная кровь впиталась в серую глину.
(Как они обознались, прокуроры, адвокаты,
Ораторы надмогильных трибун! Если бы
Кровь содержала душу — разве
Кануть она могла бы в эту порчу?)

Андрюша, в деле Бейлиса
Ты — единственный подсудимый:
Ты за всех всегда во всём виноват.

(Протоколы — гробы красноречий.
Тоскливое раздумье,
Забота, гнёт,
Серой глиной в кромешной тьме — Достоевский лоб,
Розанов, Даль.
Клавикорды тягучи; элегия; сырь; тоска.)

Сколько клыков во всех ртах!
Сколько правды со всех сторон!
А ты был с антисемитами как еврей,
С ревнителями Талмуда ты был как акум,
Ты был за всех против всех,
В этом мире был ты ничтожен и силою нищ.
Обескровленного, в эту землю положили тебя.
И вот — все сроки пришли взорваться земле:
Агнец замедленного действия.

Заткнись, унылая элегия похорон!
Имеющий уши слышать,
Переверни винил:

На той стороне кладбища
Победный записан марш!
На том берегу могил
Обескровленные встают,
И ветер света рвёт венчики с розовых лбов!
Никаких клавиатур — хор!

Как, партайгеноссе, жрец борьбы,
Праведник сатаны,
Был бы ты прав, если бы смерть была
Всесильна! В том-то и дело: если бы
Смерть — была.

Моше-портной

*

Моше-портной! шей
бесшумный семишовный мрак сей
тфилин филина накинъ
на оставленность, эту
оставленность

молись наклонясь
молитву ниц свесь
громче, словесно — — —

Моше! выше но —
глуше...

— — — кореннная распатаннная
медленнно вытаценнная
из лунннки своей луна костяная
мерцает мертвó — — —

— — — это гог и магог
в кости твои заиграли желтые
мечут о тебе и детях твоих

четыре-четыре
шесть-пусто
вот-вот выиграют — — —

скорее! отчайся, наш Моше
фиолетовый наш! круши
стены темницы

*

Спрашивали у портного Моше:
«Ты, верно, цадик? Скажи же!»
«Шиш», — усмехался Моше,
чиркал спичкой о шерсть
и закуривал аккурат
посреди третьей
Субботней трапезы.

Казалось, все
всё понимали
(казалось, да не оказалось),
расходились в молчании.

*

Спросили мы у Моше-портного:
«Почему, как думаешь,
изгнание из земли нашей
было прежде греха?»

Моше послунил кончик нитки,
довёл его до необходимой тонины
расщепами коричневых прокуренных своих зубов
и, прежде чем просунуть кончик в ушко иглы,
поглядел через ушко
на (предполагаем мы) Бога:
«Неужто неясно! Потому
что Он так любит нас, что не хотел,
чтобы мы чувствовали себя виноватыми».

(Один из нас после спёр
иглу

у подслеповатого Моше, но кто бы
и сколь бы долго и пристально
ни глядел в ушко — Бога
так и не увидал.)

*

Доведя до ума удачный заказ,
старый Моше всегда выходил из калитки
и прямо посреди улочки — грязь не грязь, снег не снег —
отплясывал, подобный
замшевой черепахе, поднимающейся на длинноногое крыло,
дребезжащий верхний брейк, впрочем,
не пренебрегая и нижним — Моше справедливо полагал,
что ежели что внизу, то и вверху.

Потом он обязательно шёл в православный храм
и ставил там свечку. И местечковый поп,
раз за разом, весело гудел: «Э, Моше!
Да ты, вижу, христианин?»

Моше же всякий раз
виновато улыбался
и не менее весело отвечал,
глядя в золотую тьму перед собой катарактами морщинистых очей,
одно и то же всегда:
«Как же мне не почитать Йешу! как не любить Йешу!
Я шью — а Он распарывает,
молниевидным Своим лезвием крест-накрест порет!
Я шью — а Он порет, я шью — а Он порет, и так
мы с Ним
никогда не останемся без работы!»

Стихотворения из книги «Натан»

Натан: из его наблюдений за антисемитами

Гитара

На жёлтой стоваттовой ночной кухне
Два антисемита
Пили водку, закусывали понюхом,
Заливаясь слезами, хрипло
Подпевали магнитофону,
Полночным трепетным бардам
С грустными, умными, насмешливыми, беспокойными
Оленьими в пол-лица тёмными очами.

Дзеннь тихо по струнам резануло —
И на клочья распалось сердце;
А живой голос
Дохнул на клочья — и снова
Срослось сердце и горит и плачет!

Два антисемита слушали эти песни,
До дна рыдали, горько клялись, братались,
Божились; на одном сошлись: у нас в России
Каждый
Еврей — прирождённый русский.

Сколько!..

В Музее религиозного искусства
Двое:
Антисемит-деда и антисемит-внучек,
Пьету созерцают.

Видишь, говорит деда,
Как зверски Христа распяли!
Видишь: дырка в правой,
Дырка и в левой ладошке!..

А кто, спрашивает внучек,
Конкретно эти дырки проделал?

Ну... говорит деда
(Свинцовые устои ему повелевают,
Но мягкая старческая болючая совесть зазрит,
Не велит врать ребёнку), —
Ну, вот эту дырку —
Сделали злохищные иудеи.

А вторую? — спросил внучек.

Ну... вторую...
Вторую — сделали другие народы.

А вот эти, в ногах, — кто?
Третьи и четвёртые народы? да, деда?
А вот эти дырки —
Следы от без одного сорока ударений,
А на лбу — иголочные дырки,
Несть числа, полные вязкой крови?..

Кто это Его, деда?

Деда молчит, поражён: и впрямь, сколько
Богоизбранных народов на свете! Старый
Антисемит никогда толком
Не разбирался в географии.
Широк Божий мир!

Век живи — век учись.

Из письма антисемита в редакцию газеты «Доколе!»

Дорогая редакция! Ваш постоянный читатель,
Радостью своей спешу с вами поделиться.

Сколько бы я ни читал изданий —
Книгу Зраим читал я,
И Книгу Моэд тоже читал я,
Книгу Нашим всю прочёл я,
И Книги Авода Зара оглавление видел,
И Пиркей Авот, Кодашим, Тохорот — вся сия превзошёл я,
Но одно только из сих усвоил:
Как правильно отцедить комара от верблюда.

И даже Книга Тимеситна, опубликованная вами
В последних ста сорока четырёх номерах газеты,
Мало что для меня прояснила.

И только
В журнале «Юный натуралист» наконец я узрел, чем отличаются
Верблюд и комар.

Натан беседует со стариком портным, пошившим ему рясу

«Конец времён»! Вы мне
Будете говорить!..
«Календарный вопрос!..» Эти ваши
Церковные заморочки! Хотите,
Я вам скажу как пожилой человек,
Который что-то понял на этом свете?
Да, юноша, конец времён, всё верно.
Но времена в конце не исчезнут —
Вот вспомните мои слова! — вовсе
Не исчезнут! Они немного
Сдвинутся и совпадут. Как бы это..
Простите, юноша, вы ведь,
Если не ошибаюсь, — еврей?
Ну так вот, вы — православный священник,
А я — старый атеист, боящийся Б-га —
Б-г ведь есть Б-г и атеистов,
Атеисты — тоже семя
Аврагама, Ицхака и Якова, верно? —
И мы оба — евреи, так что вы поймёте:
Что, вы ели в детстве щуку?
Так вот, когда придёт конец миру,
Эти ваши старый и новый стили
Совпадут, словно
Шкура и начинка! А куда, говорите,
Денутся тринадцать эти
Дней разницы? — я с вас смеюсь, право!
Я атеист, а вы священник,
И вам ли не знать такие вещи!
Как добрая мама отделяет нежное мясо,
А щучьи кости и всё это,
Все эти клипот, весь мусор,

Чтоб дитя кушало и не накололось, —
Как всё это она бросает в помойку,
Так всё зло этого мира,
От убийства Гевеля до близнецов-башен,
От золотого тельца до Шоа,
От первой гордыни до последнего скотства,
Б-г таки упихает
В эти тринадцать дней сентября
И выбросит вон!»

«Но как же!
Ведь зло и грех нарастают в этом мире,
Скудеет вера, любви не видно,
Всё меньше в этой рыбе доброго мяса
И почти уже не осталось —
Что из такого дерьма приготовишь!»

«Да что вы, юноша! верьте:
В мире нарастает святость,
И святых много — вспомните Элиягу,
Как он жаловался в пещере!..
Б-жественные искры не гаснут:
Они живут и пламенеют,
И из них возгорится пламя
Новой жизни и нового утра.
А то, что мы с вами
Святости не видим... Так это
Беда наших глаз, и только,
Бедных наших глаз, треклятых,
В катаракте, с отслоившейся сетчаткой!..
Вы верите мне?»

«Хотел бы верить...
Про слепоту вы, пожалуй, правы...»

«Прав!.. Да и это не вся правда...»

«Не вся?»

«Конечно.

Вся правда — в том, что
Эти мои глаза не видят уж четверть века,
Но шить-то это мне не мешает.
А? У вас есть что-то сказать за вашу рясу,
Молодой человек?»

Натан только
Сглотнул и покачал головой: а ведь верно —
Пошита ряса просто шикарно!..

«Ну так что вы сидите?
Идите — и не думайте много
Ни о чём таком — и даже
О своей слепоте. Пусть она вам не мешает
Хорошо делать ваше дело».

Идя домой, Натан улыбался,
Перепрыгивал через осенние лужи,
Рассеянно кланялся знакомым, прихожанам,
Сквозь пакет ощупывал рясу:
Надо же, синтетика, дешёвка —
А выглядит шёлком! Не хуже,
Чем у отца благочинного! Завтра,
Завтра Натан её наденет —
Завтра индикт, церковное новолетье,
Венец лета благости Божьей,
Четырнадцатого по новому, первого —
По старому стилю.

Нигун надежды

Морщинистый меноры свет
И кадыкастых пальцев вины
О даль и ширь о шибболет
Великоросския равнины

Бездонны тени в полстены
Раскачиванье задыханье
И в буквы кровию полны
Червлёных тонких игл вонзанье:

Осиновый имперский тав
Что без гвоздя во шип сколочен
Фарранским жёлтым камнем став
Приотворится скособочен

В глубокоголубой шаббат
В покое лев ягнёнок в славе
И Богоносец — сводный брат
Сняв ношу бережно поставит

Он ни вносил ни выносил
Ему предел земного ада
Границей кармелита был
С Камчатки до Калининграда

Родина

В пустыне над Мёртвым морем
На камень коленями, лицом в закатное солнце
Поставила меня — и расстреляла, «эш!» скомандовала
Берёзовая ностальгия.

*(христианская аллюзия: как и знаменитый райский сарай
в «Последней битве» Льюиса, человеческая память изнутри
больше, чем снаружи: сзади на затылке — крошечное входное
отверстие, спереди на выходе — развороченный красновато-
белёсый мир)*

Не плачь надо мной, детка! Иди туда, к этим людям.
Прижми на память к груди покрепче
Нашу мягкую плюшевую Россию
Китайского кустарного производства:
Лилового зайца, оранжевого крокодила.

* * *

Старый дивится рав: что за оказия этой зимой!
Снегу в гетто выпало столько,
Что Майзелову синагогу укутало с головой.

Не иначе как фараон,
Догоняя народ мой огнём, — мёрзлой с неба водою догнал
В самом конце времён.

А это просто Голем: под Рождество по ночам
Улочками бродя Градчан,
Марженку встретил, раззявил — проглотить — глиняную пасть,
А девочка, счастливо смеясь,
Положила в широкий зев сложенный вчетверо лист —
Список желаний для Деда Мороза. Чист,
Бел, нов, миссию выполнив, рассыпался Голем в серебряный прах,
В густую морозную сыпь — ах!..

Жди теперь тридцать три года, рав,
Возвращенья слуги,
В низкое небо резное, медное профиль грачий задрав.

На вернисаже в еврейском культурном центре

Седьмой слева холст как седьмой огонёк в меноре.
Пейзаж выстрижен ножницами и наклеен:
Перелётным птицам
Некуда деться из этой низкой выси — небо в квадрате.
Лимонных и багровых на сером,
Сюда нанесла осень летучих
Еврейских песен народов мира.

А внизу — коричневоглухие крыши в огнях рябины,
Но и крыши, и уличную
Местечковую грязь
Вот, глядите, снег покрывает игольчатыми письменами!
Ортодоксальный, древний,
Снег просвещает глиннобурую осень,
Как Виленский гаон — мглу простонародного магизма.

И мы, и мы, сделавшие духовность своей профессией,
Молчим, кутаемся зябко и одиноко
И наполняем вывернутые ветром чаши
Своих зонтов
Драгоценнейшей из разновидностей серебра.

Этюд с видом Цфата

Художникам Святой Земли

На улочках города, написанных в основном
«Каменнозолотой медовой» так, что
Дома выглядят вырезанными из полутвёрдого сыра
Священными буквами алефбета, согласными
С этим небом, прописанным глубокосиним,
На высоте девятисот жизней над уровнем моря,
Вежливо и напряжённо беседуют
Заезжий турист, православный священник, и хасид из местных.
Батюшка написан двумя ударами кисти,
Снежно-бел, держится скромно и уверенно,
Как утвердительный знак. Хасид — глубокочёрен,
Вековечно углублён, изогнут,
Как мудрая запятая виноградной бархатной сажи.

Эти двое
Изображены друг от друга на почтительном расстоянии,
Благо места им хватает. Художник, помедлив,
Рисует между ними невидимой краской
Третьего. Его нельзя видеть,
Но можно понять, что Он здесь, —
Так звенит: «Цимцум!»
Серебряный треугольничек (двое,
Прислушиваясь, на минуту смолкли,
Оглянулись, поискали глазами источник звука,
Увидели: это просто
Три клезмера, навеселе в этакую-то жару,
Колесят по улочке вниз, наяривают «Мехутоним-танц»,
Вниз, в глубокое место, к могиле
Йонатана бен Узиэля, искать невесту:
«Эй, вот Я иду! Где ты,
Возлюбленная моя!»).

Судный день

1

Фаранская долина! Ныне,
Когда текут сшедшие с места на камне самые камни
И иранские ядерные павлины
Расцветили небо распустившимся анилином, ты —
Поток человеческий. Обезумевшие толпы
Валят наугад, к лавре Харитона,
Прочь от города.

Не бойся, мой мальчик, — выгребем
К берегу: вон он, видишь, на склоне
Твой старый друг, медовый на медовом ослик,
На котором ты, помнишь, катался, —
Пойдём погладим! Ослик
Терпеливо дремлет, пережидает — он верит,
Что пастух вернётся, не может не вернуться,
И соберёт рассыпавшееся стадо (на этот случай
Давай-ка для пастуха положим вот здесь, на камне,
Десять шекелей, маленькую монетку,
Нашу с тобой маленькую благодарность).

2

Солнце от дыма слепнет.
Ветер рвёт, не может поднять в небо
Пласты хоругвей.
Блестящее рыбьим чешуйчатым золотом
Шествие крестного хода
Под водительством митрополита Сдомского и Гоморрского
В сослужении архиепископа Гадаринского и Гергесинского

Остановилось у выломанного проёма
Золотых ворот, нестройно гудит осанну.
Властелин мира сего, новый хозяин,
По мусульманским надгробиям вступает
В изнасилованный город.

Два пожилых друга,
Хасид и разгромленного монастыря инок,
Остановились в лесочке на окраине Гило, сели
Под сосной передохнуть от бегства,
Вытрясти камешки из сандалий.
«Ну что, ребе? Вы *этого* ждали?» — переведа дыханье,
Инок поглядывает на друга, весело и лукаво
Глаза прищурив.
«Да ну тебя!... — хасид толкает
Друга в плечо узловатым,
Сухим кулачком. — Как будто не знаешь:
Когда придёт настоящий Мошиах,
Его приход будет виден всем, от востока до запада, во всё небо». —
«Знаю, — вздыхает инок. — Тем более вы же
Так и не успели отстроить храма...»
«Почему не успели? Храм наш давно построен! Вот он», —
И хасид приложил руку к узкой,
Килеватой груди. Они помолчали,
Встали, покряхтывая, распрямили спины
И стали соображать, какими путями
Пробираться дальше, в долину Мегиддо,
В место объявленного заблаговременно
Общего сбора верных.

Хаг песах савеах

1

Фараонова конница, морские коньки,
Тычется, ввѣтся, клоѣт у аквалангиста крошки с руки.

Прискакали со всех концов моря, обстали человека стада,
Присосками-глазками плачут: когда, когда?!!

Смуѣнно фоторужѣм чешет в затылке аквалангист:
«Я, ребята, не в курсе, я просто турист.
Я редко бываю в церкви, бог у меня в душе...»
Коньки-всадники видят и сами: этот — нет, не Моше.

Обречѣнно вздыхают, разворачиваются, плывут назад,
В печальный свой дом, в глубину, в безвидный безмолвный ад.

А что же Моше? А куда он делся — сидит, где и всегда:
У кромки прибоя, где песку отдаѣтся, да всё не отдастся вода.

Исполнен терпенья, бросает блинчики, щурится в солнечный свет —
Ждѣт, когда истечѣт последняя тысяча лет,

И небо совѣтся как свиток, и светила уйдут на покой,
И воды морские раздвинет он снова узловатой худой рукой,

И скажет он строго, в усы улыбаясь, понурым каурым конькам:
«Ну что, накупались, хулиганьѣ?! То-то! Брысь по домам!»

2

О блистательная,
Сочащаяся молоком, мёдом и кровью,
Иудейско-христианская конференция!
О поиски исторического Йешуа!
О пря о законе и благодати!
О, бедные, милые, громогласные, драчливые Мои детки,
Потные, бессонные глазёнки горят, с головой ушедшие
В поиски афикомана, — перевернули вверх дном дом Мой!
Играйте, родные, так и быть, ищите,
Да поторапливайтесь — утро вот-вот уж,
Да имейте в виду: порядок в доме
Будете наводить сами.

3

— Папа, чем эта ночь
Отличается от всех остальных ночей?

— Чем... Да ты, сынок, знаешь.
Когда мы ушли, один — спрятался и остался.
Остался, как гнойное чмо, жрать из котлов объедки.
Ты же помнишь, как это в армии было —
Кто не был, тот будет, кто был, не забудет,
Крест или хлеб, тяготы и лишения воинской службы, честь и присяга,
Нехватка долбит и всё такое...
В другую такую же ночь, в саду, пылающем факелами,
Он появился снова, он уже приборзел, приподнялся,
Почувствовал поддержку (хотя как был ссыкло, так и остался),
Не прятался, полез целоваться...
Пожалели тогда, поленились, вершили исход и не до того было,

Не вернулись, не придушили, как крысу, —
И вот что получилось!..

Ладно.

Налей, сынок,
Наши сто грамм фронтовые,
По какой там уже? — по четвёртой? — налей по четвёртой.
Даст Бог —
Не последней.

Царица Суббота

1

Йерушалаим вырезанный из солнечного масла

Барух Ата Адонай

Элогейну

Спущенный с неба

Сходящий на браду браду Аарону

Твёрдо стекающий

Мелех га-олам

Выпрямляющий мягко! ты — камень

И на кого ты упадёшь того раздавишь

А кто на тебя упадёт

Ше-га-коль нигья

Би-дваро!

Тот расколется многоумную глупую

Гулкой гудящую суетой голову

На две половинки полупрозрачной

Субботней тишины

2

Вот и ты пришла,

В ряду всех суббот, глухим осенним своим чередом,

Одинокая Суббота.

Женщина зажигает одну свечу.

Женщина закрывает лицо ладонями, чтобы не видеть света,

И говорит браху (иврит —

Этот Твой язык, поток камней, плывущих в кипящем масле, —

Так единоутробен рыданию).

В подсвечнике, предназначенном на две, свече
Слишком просторно. Она
Плохо крепится, падает на стол.
Женщина не отнимает рук от лица. Свеча, упав,
Не гаснет, продолжает гореть.

3

Поссориться в субботу — всё равно что
Убить непреднамеренно, в справедливом гневе наотмашь,
Невидимого незаконнорождённого сорокового ребёнка.

Хала засохла, вино, остыв, помутнело
и дажена вид прогоркло,
И свечи чадят, смердя, как подожжённые перья
ангела смерти,
Когда мы, сжавшиеся в змеевидные
железные спирали всяк своей правды,
Разворачиваемся, каждый от своего слепого окна, чтобы
Нанести друг другу
Последний торжествующий завершающий удар, —
Но молчим.
Мы тем не менее, вот видишь, медлим. И мы молчим.
Мы вынуждены прикусить языки
И не говорить ни слова:
Это ты, ты нам рты заткнула,
О повелительная Царица Суббота,
Найдя таки управу на нас, одну из тридцати девяти:
«*Маке бэ-патиш!* — наклонясь с трона, воскликнула нам грозно. —
Маке бэ-патиш!»

Мир ловил меня, ловил, да не поймал,
Потому что от него я никуда не убежал:
Это я, наоборот, его поймал,
Взял на ручки, крепко, ласково прижал.

Мир в руках моих брыкался,
Злобно урасил, кусался,
На пиджак мне обоссался
(Между прочим, Отче, Твоё дитяtko!).

Вэй, ты, мелкий, некрасивый,
Глупый, лысый и сопливый,
Ты, беспомощный, капризный, прожорливый, —
Наконец-то ты притих, мой фейгеле,
Наконец-то успокоился, ингеле,
Наконец-то мы с тобой посубботствуем!

Не построим, не разрушим,
Не зажжём и не потушим!

Вот он хлеб, а вот вино,
Вот звезда, а вот окно,
Вот река в окно видна,
Над рекою всю субботу — тишина,
Тишина слышна до дна —
Мы с малюткой миром в этом мире просто странники.

Яков бен Доната говорит

Яков бен Доната, в немже нет лести, — стар, брадат,
толст и практически слеп.
Он... как что? — как настоящий хлеб:

Помните, был раньше такой, не белый, а немного серый,
Пахучий, ноздреватый, плотный, но в меру,

И пышный — если сжать, он распрямится вмиг,
он вместителен, как материнское лоно, —
Такой наши мамки и пекли вручную во время оно.

(Когда Яков к нам приезжает в гости, дети так и поступают:
Визжат от радости, виснут на нём и руками жмают,

А он лучится, мечет их в потолок и гудит: «Опца-дрица-ца-ца!»
Яков бен Доната — наш человек, квасной, не какая-нибудь там маца.)

После третьей, за встречу, стопки
(а мы: «Дети! Идите уже к себе, хватит лазить под столом!»),
Меленько зажевав луковым пером,

Яков бен Доната говорит, объясняя увиденное незрячими глазами,
По клеёнке, в окрошечной лужице, чертя для наглядности
указательными перстами:

«Она очень проста, геометрия спасения:
Угол падения равен углу Воскресения.

Угол грехопадения — например, твоего,
Угол падения на Дороге Скорби — Его.

Чтобы это измерить, вышагать эти линии, адовы эти круги,
Нужен циркуль: вверху — брус креста, под ним —
две дрожащих ноги.

Четырнадцать точек кровавых, в которые вонзается циркуля остриё,
И целая жизнь километров, и вся вечность её.

Так что всё просто, ой вэй, — ну, благослови Господь! —
Выпьем за вас, загнанные в угол, уголовнички мои, родная плоть».

(Яков бен Доната знает, о чём говорит: прежде чем он увидел,
Христе, очи Твои,
Ты видел его в остром углу, под смоковницей, в адской ночи,
где мучается человек пыткой Божьей любви.)

Переписчик

До войны как ещё до войны
(Какой? не задают:
Одна во всех лицах).
Эта страна.
Валовой национальный продукт.
Каменная проповедь церквей.
Фанатичный домашний уют.
Тяжёлый аромат лип.
Медленная атака.
Мачеха сколько веков.
Пойдём в кино на Мурнау.
Из нации выпита кровь
В третьеразрядной пивной на углу
(Как смеют пускать всех): беглый,
Затравленный взгляд.
Переписчик уже немолод.
Пора исполнять долг.
Ногти, чеснок.

Переписать набело, заново этот мир,
Небо и землю, но
Не смей изменить оригинал! —
Труд обречённых.

Ритуал подготовки совершён
(Буква за буквой: изменив
Направление почерка, вавилоняне
В сторону смерти повернули бессмертный бет,
Открыли квадратные воротца в ад,
Выпустили демонов под и над и до!) —

Софер готов,
Мокрый, чист,
С головы до пят омыт
Мочой вначат Рема.
Одет в жёлтое национальное пятно.
Когтями в кровь разлинован лист.
Между выбитыми зубами букв
Интервал шириной в волос.
Тридцать знаков в строке.
С мясом вывернута из плеча
Костяная указка-рука.
Однако, выписывая Имя,

Не устоял,
Дважды обмакнул перо в кровь — и вот
Должен быть сожжён
Или закопан в землю,
Предан земле, ветру,
Дыму
(Дымный значок кверье),
Выпасть в осадок вулканического стекла,
Разорвать лёгкие сороковых,
Геница тесна: оригинал сжечь
(Дальше — по тексту
Рейхсуложений тридцатых ещё,
Мягких эмиграционных препон
И резиновых торговых ков,
Карта упорядочиваемого мозга: пазл,
Из сорока двух гау один — сложи
Триптих, печь!) — успел
Выставить точки, крючки,
Чёрточки лет,
Тайнопись невыпаренных слёз,
Знак препинания, касания, вздох,

Пар (дым?). Его уже
Нет. Но таким образом оказалась жива
Тивериадская система огласовки.

Плавающая буква: Софер
Вписал в текст общеупотребительное слово «смерть»,
Читающееся как «надежда».
Благословлю, проклиная! чтобы жил,
Не был через мою боль умерщвлён
Этот мир (а ведь на волоске завис!..) — только бы
Остался кто-то, умеющий читать.

Евер башню в Вавилоне не строил, единственный из всех.
Золотое семя Адамовой речи он сохранил.
Эта живая речь
На пепелище победной весной взошла: новое
Древо познания добра и зла.
И уже Ты, Господи, давно отменил запрет,
И в пепел повержен змей,
Да вот беда — что-то нет никого
(«Ривка, сердце моё! закрой
Глаза детям! пусть
Не глядят!») — никого,
Дерзającego подойти, сорвать плод.

Состав расстреляли под Белгородом

Сухие истёртые пальцы, ящик с куклами под откосом,
старик-кукловод
Дочечку собою баюкает, перекрывая вой самолётов, поёт:

«Спи, моя ингеле! Это Песах, спи на моих руках,
Спи, посмотри! Никакой ваги нет в небесах,

И посреди длинной нашей дороги
Никто нас не держит нитями за сердце, за руки и ноги,

Мы не петрушки, мы не марионетки, мой свет,
Мы не арбалески, не ростовые, и в горлышке пищика нет, —

Видишь, ширмочка бархатная, ситцевая какая,
Необъятная, складчатая, бездонная, чёрная, голубая-златая, —

Мир велик, фейгеле, а мы с тобой так малы,
Так ничтожны посреди этой мглы,

Мы, которым престолы и силы последнее представленьё
сейчас дают,
Накрывают субботний стол, и ангелы бреющим воем
под занавес фрейлехс поют, —

Но это не вага над нами, о нет, это сияющий в небе крест,
Крест-накрест разрез,

И небеса по разрезу расплзаются в стороны и открывают нам свет,
И это дорога свободы, нас отпустил Мицраим, и смерти нет!» —

Так он поёт, и с вышины, исполненной темноты,
Ниспосылают свою благодать мессершмитов кресты,
Рваным целуют свинцом, в букеты собирают алые
восходящие из плоти цветы.

20 октября 1943 года:
закрытие последнего сезона
еврейского театра в вильнюсском гетто

когда подымается ветер
мы видим
волю листвы бессловесной

(волящие к воле — улетели в волю
заблаговременно
вычти их из мира:
мир – воля = представление)

вот что остаётся: представление

средневерхнечеловеческий
театр
грим глицерин заученный текст но
крашеный картон вполне отворяет вены
и о двунитку кулисы
голову разможжить как о стену гетто

(перебери гербарий
в фойе фото: травести трагик благородный
отец
шести миллионов детей)

багровым клёном мохиндовидом
опадать падать
на пандус

(руки за голову выходи
на поклон
рукоплещут зрители в чёрном)

— это мы волящие к Богу
спиной к ветру —
листья
летающие жгучим осенним дымом
(дворник метёт)

(жизнь! что жизнь: это бутафорское золото
брали мы займы у испуганных египетских женщин
мы возвращаем реквизит
больше не нужно
спектакль «Шмот» сыгран и снят с репертуара
режиссёр доволен)

никого не оставим в ветвях сучьях
октября
на этом берегу: наш моисей
суфлёр гниливый
перейдёт с нами огненную реку
Паняряй
и вступит в зрительный зал

и мы — из пламени в свет
прямоком: нас больше
нет
а на нет — и Суда нет

Каменное море

мощёный глухой тупик
однозначное солнце
в лёгких от бега черно
твой неподвижный
полдень: навстречу —
стаяка мальчишек
чётко распределились
двое по бокам
двое зашли в тыл
старший всё ближе
длинно выцыкнул
в пыль под ноги

горячие прокалённые
босым облупленным жаром
вэка этого века́
белые глаза
украдкой взгляд-пробрыск:
по сторонам — на тебя

в руке — камень
облый белый
сейчас сейчас
на нём напишут
твоё новое имя

подбрасывает — в ладонь
вновь ловит туго
точно садко:

шшшш
лёп
шшшш
лёп

о Мицраим
проклятая родина
о эти песни
безжалостного детства
эти дразнилки
переходящие в считалки:
«так! каждый первый — — »

(народ твой всё исходит и исходит
в нерасступающееся море)

Мальчики над местечком

Война, мамеле неродна.
Над местечком в небе — черно:
Взрослых превратили в дым.
Вглядиись внимательно,
Козырьком, наблюдатель, ко лбу
Приложи ладонь: видишь сквозь дым? — это
Сто воробьёв весенних
В синее небо, черноты поверх, уходят,
Звонко щебечут:

Хотш мир зайнен
Юнг унд клейн,
Ви ди хелдн
Дарф мен гейн!

Вон, видишь,
Оглянулся на нас последний — так и
Не ставший мужчиной, —
Курчавые перья, кепчонка набок,
Внимательный, мудрый, удивлённый карий
Взгляд одним боком, по-птичьи,
Тонкий горбатый жёлтый клювик,
Кадык вверх-вниз по горлу
(Единственно неизгладимый,
Как утверждал один спец
По пубертатной орнитологии,
Мужской признак).

Мигдаль

Л. Г.

что там плоть! палёные свиные лытки
убытки разочарования сплошные недостатки

а вот если душа зацепится, за петельку крючочек —
ну и труба дело завихрило пропал человек

тут и впрямь что гавот Люлли что Ныне отпускаеши
как ни сыграй всё смахивает на фрейлехс

$$8/8 = 3/8 + 3/8 + 2/8$$

карагод ли тебе, рейдл, семь ли сорок

и только одно отрезвление: чтобы пришёл Дух
разменял сотку перечёл бы Двух — на Трёх

Колыбельная

— Спи, моя доченька, спи...

— А мы завтра пойдём домой?

— Да.

Видишь, вон там, над водой — звезда?

И ещё, и ещё... Завтра пойдём туда.

Только надо поспать.

Вон та звезда, весело так плывёт, —

На ней царь Давид живёт,

На гусях играет,

Хлебом и вином всех-всех угощает.

А вон там,

На той звезде, — дедушка наш Адам,

Между лилий пасёт овечек.

— И львов?

— И львов.

А бабушка Хава пряжу прядёт,

Веретёнце звенит-зовёт:

«Спи, глазок,

Спи, другой...»

А вон — братик твой.

На серебряных качелях — туда-сюда,

Туда-сюда:

Ой-
Вэй...
Ой-
Вэй...

— Папа, а эти люди... они всё ещё тут?

— Ох... нет, их нет.

— А они не придут?
Они не будут больше кричать?
Они не будут больше стрелять?
Они отдадут нам маму и Осю?

— Да, рыбонька, да... Ну, — ныряй в это озеро.
Озеро глубоко,
До утра далеко...
Спи, ничего не бойся.

— Папа... а кто там
Маминым голосом
Так плачет над всеми, над всеми, так поёт в камышах?

— Спи. Это
Птичка Руах:
Летела-летела,
На головушку села.

Еврейская точка зрения

Принцип Шиндлера:
не говорить лишнего.
Никому.
И сие было и есть спасительно
воистину
для всякого еврея.

Принцип Мандельштама:
говорить всё и лишнее.
Всем.
И сие было и есть губительно
воистину
для всякого еврея.

Во истину
войдём мы, в эту льдяно пламенеющую воду,
в её глубину,
по лядвея, затем по пояс,
по горло, по дыханье,
по весь смысл, по всю веру.

И там, во истине, в самой её глубине,
в невообразимой высоте,
мы увидим с тобой воочью,
как спасение и гибель
превращаются во что-то другое,
настоящее, — как ночной бессмысленный, такой,
казалось бы,
убедительный, дальше некуда,
заполняющий, как газ, по законам падшей физики,

весь предоставленный ему
объём сна, кошмар
претворяется в утро.

Потрогай Его: жив
Бог наш. И жива — хочет она того или нет —
душа наша.

Имя

В сорок пятом синагогу на Подоле снова открыли. В пятьдесят втором она впервые пришла туда с тёткой Ганной (тётка не родная, но роднее родной — подобрала её, когда ей было семь, вырастила. Тётка считала её своим талисманом: дитяtko спаслось из Бабина Яра, знак небесный, принесёт удачу в дом).

Из того, что читали и пели в синагоге, что говорил рав, о чём — ой вэй — плакали Б-гу в медный гулкий завиток уха собравшиеся в синагоге люди, она ничего не помнит.

Она разговаривала каждую ночь с мамой и сёстрами — они с тёткой Ганной жили на улице Мельникова, и мёртвые пели как раз под её кроватью, прямо из-под земли.

Потом, в шестьдесят первом, прорвало вал, грязь затопила всё до самой Куренёвки, и мёртвые петъ перестали. Тогда живые-то были как мёртвые, до песен ли было.

Но всё, что пели мёртвые, она помнит. Мама, сёстры.

В синагогу она больше не ходила.

Она нашла довоенную фотографию, пожелтевшую, как ласковое костяное пожилое солнце, — она, мама, сёстры, родня с Пуща-Водицы, родня с Гостомеля, собака Розка — и отстригла Б-га ножницами.

«Он бросил нас».

Но фотографию сохранила.

Когда её внучка нашла эту фотографию — «Ой, бабуль, класс!.. А кто это? А это?.. — Да я уж и не помню, доня...» — то сосканировала её, выставила в фейсбуке, в альбоме «История моей семьи».

И полночи сидела, глядя в мерцающий монитор.

В пустоту справа, там, где фото резко кончалось, в тьму, полную таящегося Смысла, — курсор легко ложился на неё, как беленький поплавок на чёрную глубоко-бездонную воду, высвечивал рамочку: «Вставьте любое имя».

Бруно Шульц

Солнце за окном — рыжая лилита,
Смеясь, имена трёх ангелов сожрала.
А я-то ребёнок, а я не испугаюсь,
Отец! я её нарисую,
Заклятие: карандаш, бумага.
На металлической ветке за окном тоскует, просит плоти
Стимфалийская птица весна
Сорок второго года.

Знаешь, отец, ведь если Бог — и в самом деле
Раввин из Дрогобыча, то мы пропали!
Но если Он — просто Б-г,
С кровоточащей мясной пустотой «о» (словно
Вырвали, плотно скрюченными пальцами уцепившись,
Восемь страниц с рисунками из самой середины
Плотной, пряной, трепещущей, как влажная роза,
Книги), — то
Ничего, может, ещё оживём.

Хасидим

- Услыши мя, Б-же!
- И ты Меня т-же.

Бат Коль

1

В блюде застукана, дрожа, стояла рядом —
Ты помнишь — как слеза на волоске?
Как, наклонясь, чтоб не встречаться взглядом,
Черту оседлости чертил Я на песке?

Довольно для камней была ты целью!
Зовёт тебя Жених безумных дев,
Сгоревших лёгкою соломенной метелью
В любви Моей, пылающей, как гнев.

2

Зной кончится. Звезда над садом встанет.
Прохладой вечера умоется Сион.
Раба Работодатель не обманет,
И в книге притч последний лист прочтён.

Приди, прими из длани прободённой
Вино прозрачное, пшеницу и елей
Ты, часа первого работник изнурённый,
И старший брат, и верный фарисей.

RHM

Царица Суббота. Мне кажется, что я ждал эту книгу, что я её выпросил. Что она не могла не прийти в мир. Что её не хватало. Как бывает с человеком: он приходит, и понимаешь, что его не хватало.

Но какая нехватка? Что восполняет ещё одна книга на еврейскую тему?

Я живу в Минске, в городе, где ещё сто лет назад половина населения была еврейской и было 88 синагог и молельных домов. Здесь восемьдесят лет назад идиш, язык ашкеназских евреев, был одним из государственных, текст на идише был вpletён в герб БССР, на еврейском языке печатали школьные учебники и преподавали в университете. Но уже в начале 1940-го одним декретом советская власть закрыла все еврейские школы. Здесь же, на окраине Минска, в годы немецкой оккупации был устроен четвёртый по величине лагерь смерти для уничтожения евреев. И евреев уничтожали и почти уничтожили. После войны, в 1948-м, под Минском, на даче председателя белорусского КГБ, убили Михоэlsa. Политика государственного антисемитизма довершила «окончательное решение еврейского вопроса» в моей стране. Сегодня на девять миллионов жителей Беларуси приходится тринадцать тысяч евреев.

*Вот, видишь,
Оглянулся на нас последний — так и
Не ставший мужчиной...*

Казалось бы, книга должна быть написана здесь. Прозвучать отсюда — из «черты оседлости». Но нет. Слишком близко. Слишком больно. Слишком невыносимо бесчеловечно.

Книга написана в Минусинске, в Сибири. У Сергея Круглова нет еврейских корней, он православный христианин, священник. Очень большая дистанция.

Но должно быть какое-то объяснение, откуда у сибиряка, у православного возникает устойчивое внимание к столь далёкому предмету — к еврейской теме? И это не простое любопытство, не научный интерес, а потрясённость поэта. И это чуть ли не первое, о чём заговорил поэт после восьмилетнего молчания. Это то, что разомкнуло уста.

*

Нежность. Безусловно, первый опыт всякой новой жизни. Первое узнавание и первое ликование. В материнских недрах, в люлющихся пеленах, в неупиваемой утробе.

Как прерывается? Зачем? Только ли у меня? У всех?

Обнимающее, омывающее, обволакивающее блаженство, кто совлекает тебя с меня? Кто роняет, швыряет мою наготу в колючий, ранящий холод? Какой тренер духа?

*

Середина девяностых. Круглов пишет резкие, как рваный стеклянный край, стихи. Пряный запах земли и крови покалывает ноздри. Публика заворожённо, медленно глотает сладкий самоубийственный танец. Поэт — в каком-то исступлении — сжигает все свои рукописи, выбрасывает библиотеку и принимает крещение в Православие. Как бы когда.

Но как это вообще возможно? Для гения такого игрового безразличия, такого арктического интеллектуализма? Когда все смыслы, как птицы, цепенеют на лету и падают к ногам кусочками ледяного пазла? Когда все боги на коротком поводке? Грызутся у ног сворой верных процессоров. И имя им: легион.

*Здесь, в тени, — только тени,
И я — одна из теней. И мои парни.
Тень, но с ними.*

Что уже может произойти в этом функциональном морге или аду?

Только нечаянное обретение себя в милующей глубине, эмбриональное пробуждение в Отчей пазухе, в матке безусловной любви. Только новое рождение.

*

На что похожа Премудрость Божия? На материнскую утробу. Аверинцев: «...неужели авторы Ветхого и Нового Заветов действительно видят в любви Бога к людям, в любви Христа к людям, в любви христиан друг к другу черты столь специфического вида любви, как “чревное” материнское жаление? Неужели образ Яхве, столь часто представляющийся нам абсолютным воплощением строго отеческого начала, имеет в себе нечто материнское?

На этот важный вопрос следует ответить утвердительно.

Исаия 49:14–15 (слова Яхве): “Сион говорит: Яхве оставил меня, и Господь мой забыл меня. Может ли женщина забыть младенца своего? Не пожалеет ли она сына чрева своего (rhm)? Если даже и они забудут, то Я не забуду тебя”. Итак, Бог есть больше мать, чем сама мать» (С. Аверинцев. ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ).

Он... как что? — как настоящий хлеб...

*

При переводе Библии на европейские языки возникла трудность с понятием Божией «утробы» (rhm). Греки её превратили в «благоутробие», а латиняне — в неожиданное «милосердие», потому что для римлян женское лоно ассоциировалось исключительно с нечистотой. Поместить Божественную благость в средоточие скверны они не могли и нашли для Неё другое телесное помещение — грудную область. И этот умозрительный перенос не остался без последствий.

Православные наследуют греческой традиции, но, если мы сегодня говорим о любви Бога к человеку, мы всё-таки думаем о Божием милосердии, а не о каком-то Его благоутробии. Мы как бы принимаем римскую интерпретацию. И мы говорим о человеколюбивом сердце Христа, у Которого есть сердце как телесный орган в силу Его воплощения. И мы теряем представление о любви Бога Отца, потому что ничего не можем сказать о Его сердечности и уж никак не можем себе позволить увидеть Его женское, Его «утробность».

Христиане постепенно теряют переживание себя в Боге, на его место приходит переживание Бога в себе. Сердце в представлении христиан становится некоей «дароносицей», в которую Бог вполне помещается и в которой Его можно «переносить», как Святые Дары. Христианину становится возможно сказать: Бог у меня в сердце. Бог — это не Тот, Кто меня содержит в Себе, а Тот, Кого я могу «локализовать» и с Которым могу выйти из душевной стадной церковной «утробы» и пуститься в одинокое духовное странствие.

*

*Моше-портной! сшей
бесшумный бесшовный мрак сей*

Тьма иудейская, тьма «чревная», тьма Божия, она находит человека как бы на ощупь, касается всего в человеке, её тактильность одновременно и телесная, и мысленная. Эта тьма вылизывает своего котёнка с жаркой тщательностью, зажигает языком — и плоть, и сознание.

Человек интуитивно во встречном благодарном желании тычется в женское, ищет в женщине, через женщину. Флорентийцы строят собор как «утробную» базилику и посвящают его Богородице. Санта-Мария-дель-Фьоре. Христиане почитают Пресвятую Деву как Матерь Христа, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, всемилостивейшую Заступницу и прибе-

гают под кров её. Но должна ли и может ли дочь Иоакима и Анны заместить собой Бога в Его «утробности»?

Пресвятая Дева. София. Шхина.

*

Иудеи, погружённые в Бога, трепетно охраняющие непрерывное переживание такой ощутимой, облекающей глубины, на протяжении столетий жили рядом с христианами, делили с ними общий европейский дом.

Невозможно представить Евангелие без параллельных мест из Ветхого Завета. Неразумно ждать плодов от растения, вырванного из питающей среды. Может быть, самое страшное бедствие европейской цивилизации — христианский антисемитизм.

*это мы волящие к богу
спиной к ветру —
листья
летающие жгучим осенним дымом*

Как евангельское откровение неотделимо от иудейского, так и христианская община нежизнеспособна без еврейской. На протяжении столетий иудейское присутствие в Европе было условием существования для всех христианских Церквей. Отторжение иудейства, заключение евреев в гетто, погромы и наконец катастрофа XX века, Шоа, — ставят под вопрос существование европейского христианства, не номинального обрядоведения, охраняющего традиции, а живой общины, погружённой в Бога.

*

Корчаку, разделившему судьбу своих воспитанников, часто ставят в укор гибель детей. Ему, когда уже стала понятна судьба детского дома, настойчиво предлагали раздать детей по еврейским

семьям, что давало бы шанс кому-то из них затеряться в лабиринтах гетто и выжить. Корчак отклонил все предложения. Он полагал, что дети до конца должны оставаться с ним и вместе. Говорил, что это позволит им сохранить внутренний покой. Детям нельзя испугаться. Сохранение в детях — во что бы то ни стало! — доверчивой умиротворённости, внутренней тишины для этого великого еврейского педагога было важнее их физического избавления.

*Озеро глубоко,
До утра далеко...
Спи, ничего не бойся.*

У Светланы Алексиевич в «Последних свидетелях» есть рассказ из времён Второй мировой, свидетельство женщины, которую маленькой девочкой выбросили на ходу из летящего поезда в безлюдное ночное пространство. Это сделали сознательные взрослые смертницы, которых везли в переполненном товарном вагоне для убийства. Они нашли маленькую дырку в стене и вытолкнули через неё девочку наружу — в отчаянной надежде, что каким-то чудом она сможет не разбиться и спастись. Выхватили из тесного человеческого тепла и швырнули в крошечную тьму. Девочка выжила.

Младенца Моисея, как бы в более благоприятных условиях, пустили вниз по течению в корзинке, и то он на всю жизнь остался заикой — косноязычным.

Сохранившие жизнь, но утратившие состояние нахождения в Боге, в утробных недрах, уже настолько несчастны и неприкаяны, что, может, лучше было им и не быть. Есть и такое мнение.

Может быть, атеист — не тот, кто мыслит себя таковым, а «выскобленный», тот, кто совсем утратил переживание «утробности», последний отзвук «блаженного пребывания».

Европейский секуляризм, философское объявление о смерти Бога, рационалистическое учение о взрослении и освобождении человечества от религиозной функции, экзистенциальное предпочтение одинокого «несчастья» стадному «благополучию» — все эти

кропотливые усилия по «локализации» и «купированию» Бога, все эти концептуальные жесты не могут уничтожить Бога, но убивают человека.

Ничего, ещё оживём.

*

Я выросал в безбожной семье. Дедушки и бабушки по обеим линиям были первыми комсомольцами, советскими учителями двадцатых, брошенными на борьбу с безграмотностью и вредными религиозными предрассудками. Детское предубеждение было доведено до рвотного рефлекса. Для меня, выпускника средней школы образца 1980 года, переступить порог церкви было всё равно что прийти в языческое капище для участия в человеческих жертвоприношениях.

Поступил на архитектуру. Интересуюсь поэзией. Попадаю в дом к самому странному человеку в Минске, у которого две отсидки по политическим статьям. К Киму Хадееву. Потому что в этом доме пишут и читают стихи. Первое, что получаю в руки, — стопку машинописи с поэмой Григория Трестмана «Иов». Сам Гриша тут же, на кухне у Кима, пишет новую поэму — «Иона». Моему недоумению нет предела: как такие бесстрашные незашоренные люди — под колпаком ГБ — могут столько внимания уделять библейской архаике? Какой смысл? Начинаю читать.

И вдруг понимаю, что я дома. Дома, откуда не помню, когда ушёл. Дома — больше, чем у родителей и с родителями. И дом этот вяжется непрерывным шевелением губ и букв.

*И стол накрывали в доме, и в душе у людей
Суббота жила, хоть ещё не настала Суббота,
и кротко светились большие зрачки лошадей,
и слёзы жены не просохли ещё отчего-то.
Вол тягивал воздух ноздрями и скашивал рот,
осёл затрубил во дворе, пересилив икоту.*

*И Иов распряг и развьючил оставшийся скот,
и корм положил,
чтоб скотина познала Субботу.
Мух с крупа сгоняла ослица ленивым хвостом,
стояли рабы, расстелив у стола одеяла,
и Иов домашних позвал в ожидающий дом,
и солнце за землю ушло, и Суббота настала.
(Гр. Трестман. «Иов»)*

*

Как же быть тому, чья исподняя реальность — тревога? Как родиться «выскобленному»? Как от страха шагнуть к желанию?

Жан Ванье, современный подвижник, основатель общин «Ковчег» и «Вера и Свет», приглашает оглянуться на самых бессмысленных, на оставленных и тут же забытых, на заключённых в дома безумные и отчаянные. На тех, для кого любое прикосновение — ложь и ожог.

Иногда нужны годы и годы, десятилетия нежности, чтобы зачать счастье, чтобы стеклянную вату претворить в околоплодные воды.

Иногда достаточно одного окрика-выстрела, чтобы прервать беременность.

*

Однажды к митрополиту Антонию обратилась девушка-еврейка, которая искала духовного окормления и общения, но сомневалась в христианстве. Владыка предложил ей ходить на службы и пообещал со временем ответить на большие вопросы. Вскоре, по доверию к нему, девушка приняла решение креститься. Но на свою беду крестилась она не у митрополита Антония, а у другого священника. И тот батюшка, едва совершив чин крещения, сразу напутствовал новорождённую во Христе: а теперь ты должна всю оставшуюся жизнь каяться за грехи твоих предков, которые нашего Бога распяли.

*А кто, спрашивает внучек,
Конкретно эти дырки проделал?*

Девушка в отчаянии вернулась к владыке Антонию. Узнав о случившемся, владыка благословил её впредь не общаться со священником-изувером.

Блажен тот, у кого всегда под рукой митрополит Антоний Сурожский...

Если Церковь — не сама нежность, а хоть что-то другое, то она — жалкая ложь и ожог.

Зачать «выскобленного» способна не жестоковыйная зависть и не самоупоённая сентиментальность, а безусловная материнская нежность, раздающая чрепную плоть на бинты.

*

В 2001 году я написал небольшую прозу «Кавказ радости», где рассказал о своём неожиданном обращении и крещении в Тбилиси, куда отправился автостопом с друзьями и с выставкой художественной фотографии, но безо всякого религиозного чувства:

«Здесь, в Грузии, оказалось естественным то, что дома, в Беларуси, для меня образца 88-го было немислимо. Здесь не было барокко. Здесь в пяти минутах ходьбы от Караван-сарая, на улице Ираклия II, не отвлекаясь на воды Лагидзе и хачапури, приутился древний, VI века, тёмный-претёмный баптистерий. Сюда, однажды зайдя из любопытства, я стал приходиться не затем только, чтобы укрыться от палящего зноя, но чтобы остановиться. И встретиться. С собой. И Тобой.

Я опускался на скамейку почти в полной темноте. Меня, как бинтами, обматывал слоистый прохладный воздух. Я просто привыкал к этой дневной ночи в этой рукотворной пещере.

Здесь я освобождался от мыслей, от боли, от того внутреннего крика, который не оставлял меня в покое нигде больше. И я не мог не принять это».

*

По преданию Грузинской Церкви, раввин Елеазар в I веке нашей эры купил хитон Господень у воинов и с ним прибыл в Мцхету, где жила его сестра Сидония. Сестра взяла из рук брата хитон и тут же умерла. Сам хитон не смогли забрать из её мёртвых рук и похоронили женщину вместе с ним. Сначала на могиле Сидонии вырос высокий кедр, потом была построена первая деревянная христианская церковь, а затем — величайшая грузинская святыня, храм Светицховели, Животворящий Столп. Наверное, неудивительно, что иудейская община в Грузии всегда была окружена особым почитанием местных христиан.

*

Потом у меня были песни Андрея Анпилова «Чаусы» и «Швейная машинка», воссоздающие удивительный трепетный мир белорусского еврейского местечка. Потом — целый космос Вениамина Блаженного — Айзенштадта, который сам происходит из хасидской среды и который мальчиком увидел «эти страдальческие глаза» Христа на исколотой штыками фреске в осквернённом и разрушенном витебском храме, а потом прочитал о Нём в антирелигиозной брошюре. И стал анонимным христианином. На всю жизнь. И теперь — «Царица Суббота» отца Сергея Круглова.

Йерушалаим вырезанный из солнечного масла

Очевидно, Сергей крестился в нежность. Как это совершалось — его тайна, но все позже написанные стихи — верные свидетели этого счастья рождения.

И всё же, почему онемел — на восемь лет? А потом закричал?

Сергей ответил в письме, сначала однословно: Церковь. Такой скупой ответ открывает, с одной стороны, широкий простор для свободы интерпретаций. С другой стороны, я хорошо слышу и понимаю горечь ответа.

Церковь не целая. Церковь двоящаяся: милующая и ненавидящая, засевающая Божье лоно и выскабливающая из Отчих чресл. Церковь Нила и Нилуса: ликующая с псалмопевцем и кликушествующая о жидях, добавляющих в мацу кровь христианских младенцев. Зовущая к покаянию. Нераскаянная.

Круглов: «Внешне всё было примерно так: придя в Церковь (крестившись в 96-м), я сразу окунулся в пласт ранее мне неведомой культуры и смыслов (ну, то есть Бердяева-Льюиса-Честертонна читал и ранее, а тут и св. отцы, и всё прочее, водопад). Ну и, конечно, читал всё подряд, в том числе и попадавшееся «народное» — Нилус там и в таком духе... И через всё это рос, как-то пробивался ко Христу (будучи уже священником, рукоположён был вскоре, в 98-м). Усваивал с распахнутыми глазами всё подряд, всё ял... А потом постепенно происходила реакция усваивания-отторжения. Оставались вл. Антоний, о. Софроний Сахаров и всё вот такое, а прочее — ригоризм, алармизм, благочестие, полужычество, теория заговора — тошнилось, выходило порами, не сразу, частями.

С 96-го года я восемь лет стихов не писал. А потом, в начале 2000-х, они враз вернулись, уже с Христом и с Церковью. И в это же время произошла встреча — заочная — с о. Александром Менем, через одного хорошего человека, ныне покойного, книги о нём (первая, помню, — воспоминания Зои Масленниковой), и его книги, и вообще мир еврейства... (До сих пор помню, как мы ходили спасать библиотеку Еврейского культурного центра в Минусинске — его руководитель сбежал куда-то, книги и журналы свалили в мокрый сарай, мы спасли каждый по огромной сумке...) Это был какой-то безусловный прорыв (сначала Натан*, первые два или три стиха про него, стих про маленькую еврейскую скрипку, «Акция против жидов. Май» — он сейчас тоже в «Натане»,

* Цикл стихов про о. Натана, на две трети вымышленного мной русского еврея, ставшего православным священником, полностью опубликован в книге: Сергей Круглов. Натан; Борис Херсонский. В духе и истине. — New York: Ailuros Publishing, 2012. (Прим. С. Круглова.)

«Бат коль» и потом уж всё остальное) — туга о Церкви, против латентного и явного брыдлого антисемитизма, о потерянном иудействе, которое ищет Христос, и — о еврействе и христианстве как единстве СЕМЕЙНОМ, кровном...

Писали вместе с Ним — Он предложил. Я упоённо согласился, это был такой кайф, такой свет. (Это я примерно пытаюсь передать ощущения.) По человеческим и литературным меркам всё написанное в считано краткие сроки, почти враз — несколько лет».

*И стали соображать, какими путями
Пробираться дальше, в долину Мегиддо,
В место объявленного заблаговременно
Общего сбора верных.*

*

И всё же, почему Минусинск? Откуда Еврейский центр?

Есть свидетельства, что вскоре после присоединения Западной Беларуси к СССР, в 1939-м, новая власть начинает высылать бело-русские ешивы — в Сибирь. Посадки и ссылки верующих-иудеев продолжают в пятидесятые-шестидесятые. Как, впрочем, и любых «религиозников».

И ещё. 23 октября 1939 советские военные корабли зашли в Лиепайский порт — началась оккупация Латвии. Семья моего будущего тестя Иосифа (Йошера) держала суконную лавку на площади Роз, в центре Либавы (Лиенаи). В считанные дни или даже часы «буржуи» были арестованы, осуждены и этапированы в Красноярский край. Глава семейства — направлен в исправительно-трудовой лагерь, откуда никогда не вернулся. Его жена и шестнадцатилетний сын Йошер — просто в ссылку, но порознь. Йошер знал четыре языка — идиш, латышский, немецкий и английский. За время ссылки освоил профессии плотогона, на Енисее, и комбайнёра, прекрасно выучил русский. Любви к советской власти не приобрёл, но вернулся домой с добрым и благодарным отношением к сибирякам.

Рассказывал о простой женщине, медсестре, которая сжалась над «инородцем» и спасла его от цинги, заваривая лапник и отпаивая его хвойным отваром. О враче, который не стал резать ему, молодому парню, ногу, а взялся лечить гангрену и вылечил.

*И слушали мужики-шофера, и лица
Порастали былём,
Новый Израиль, внуки Исава, любители чечевицы,
Думая о своём...*

Видимо, в этом краю, где живут потомки ссыльных и каторжных, у людей в поколениях выработалась особая чувствительность, то самое «чревное» жаление по отношению ко всякому выброшенному из жизни, «выскобленному». Может, потому написалась и эта книга.

Может, поэтому я пишу послесловие.

Дмитрий Строчев

Содержание

Бегство в Египет	3
Дрейдл	6
Leg. X. F.	7
«Иерусалиме! словно кокошь...»	11
«Девятое ава. Орлы слетелись...»	12
«По двое вышли под осень, не взяли в запас...»	13
Памяти Андрея Юцинского	15
Моше-портной	17
<i>Стихотворения из книги «Натан»</i>	
Натан: из его наблюдений за антисемитами	
Гитара	20
Сколько!..	21
Из письма антисемита в редакцию газеты «Доколе!»	22
Натан беседует со стариком портным, пошившим ему рясу	23
Нигун надежды	26
Родина	27
«Старый дивится рав: что за оказия этой зимой!..»	28
На вернисаже в еврейском культурном центре	29
Этюд с видом Цфата	30
Судный день	31
Хаг песах sameах	33
Царица Суббота	36
Яков бен Доната говорит	39
Переписчик	41
Состав расстреляли под Белгородом	44
20 октября 1943 года: закрытие последнего сезона	
еврейского театра в вильнюсском гетто	46
Каменное море	48
Мальчики над местечком	50
Мигдаль	51
Колыбельная	52

Еврейская точка зрения	54
Имя	56
Бруно Шульц	58
Хасидим	59
Бат Коль	60
<i>Дмитрий Строев. РНМ</i>	61

Сергей Круглов. Царица Суббота

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voomega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 20.02.2016.

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 4,5

Тираж 500 экз.



Сергей Круглов родился в 1966 году в Красноярске. Учился на отделении журналистики филфака Красноярского госуниверситета. Ранние тексты публиковались в журналах «Вавилон», «Знамя», «Митин журнал» и др., в 2003 году издана книга избранных стихотворений «Снятие змия со креста».

В 1996 году Сергей Круглов принял крещение в лоне Русской православной церкви, в 1999 году — сан священника и ушёл с литературной сцены. Служил священником в Свято-Спасском соборе города Минусинска, сейчас живёт и служит в Москве. С 2006 года публикует новые стихи, а также эссе и статьи в журналах «Воздух», «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Номо legens», «Истина и жизнь», «Фома», «Вестник РХД» и др. Автор книг стихов: «Приношение» (2007), «Зеркальце» (2007), «Переписчик» (2008), «Лазарева весна» (2010), «Народные песни» (2010), «Считалки с Богом» (в соавторстве с Ольгой Кушлиной, 2011), «Натан» (2012), «Птичий двор» (2013), а также книг церковной публицистики: «Усилье Воскресения» (2013), «Стенгазета» (2013), «Движение к небу» (2015). Лауреат премий Андрея Белого (2008) и «Московский счёт» (2009).